
ТЕКСТ И КОНТЕКСТ

С.В. Савинков¹

*Воронежский государственный педагогический университет
Воронежский государственный университет*

**МОЕ СЛОВО И СЛОВО БЕЗ МЕНЯ
В ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ ГОГОЛЯ**

В статье рассматриваются контуры и векторы рефлексии Гоголя в период 1840-х годов. Ситуация выбора между художником и проповедником потребовала от писателя дать принципиально разные ответы на вопрос о том, в каких отношениях должны находиться между собой слово и его создатель.

Ключевые слова: слово, личное, внеличное, отрыв, истина, ложь, живое, мертвое

S.V. Savinkov

*Voronezh State Pedagogical University
Voronezh State University*

**WORD WITH ME AND WORD WITHOUT ME
IN THE CREATIVE BIOGRAPHY OF GOGOL**

The article discusses the contours and vectors of Gogol's reflection during the 1840s. The situation of a choice between an artist and preacher demanded that the writer gave fundamentally different answers to the question of what relations should be between a word and its creator.

Keywords: word, personal, impersonal, separation, truth, lie, living, dead

¹ Сергей Владимирович Савинков, доктор филологических наук, профессор Воронежского государственного педагогического университета и Воронежского государственного университета

Поучительные размышления «о том, что такое слово» (в разделе IV «Выбранных мест из переписки с друзьями») проникнуты фундирующей их идеей ответственности. Идея эта оформляется в мыслях о том, что ответственность писателя перед словом достигается его ответственностью перед самим собой, предполагающей упорное самовоспитание и требовательный самоконтроль. И то, и другое необходимы писателю для того, чтобы иметь силы и выдержку, без которых слово не может появиться на свет во всей окончательности своей совершенной природы.

Эта мысль в письме Гоголя оттеняется негативным примером. Образчиком неправильного отношения к себе и к слову Гоголь выставляет «нашего приятеля» П. (М.П. Погодина). По словам Гоголя, П. «торопился всю свою жизнь, спеша делиться всем со своими читателями, сообщать им все, чего ни набирался сам, не разбирая, созрела ли мысль в его собственной голове таким образом, дабы стать близкой и доступной всем, словом – высказал себя во всем своем неряшестве» [Гоголь, т. VIII, 1952, с. 231]. Результатом такого «неряшества» и стало то, что никто из его читателей не смог ни заметить, ни оценить его благородных и прекрасных порывов: все увидели в его словах лишь «неряшество и неопрятность».

Заметим, речь у Гоголя идет не о том, что П. старается выдать одно за другое, не о том, что слова П. лживы (что они выражают то, чего нет); речь идет о другом – о том, что поспешно, неряшливо высказанное слово не сможет выразить подлинные чувства его произносящего: оно непременно их исказит и извратит. И то, что изначально имело истинное содержание, станет восприниматься как ложное: «Заговорит ли он о патриотизме, он заговорит о нем так, что патриотизм его кажется подкупной; о любви к царю, которую питает он искренно и свято в душе своей, изъяснится он так, что это походит на одно раболепство и какое-то корыстное угождение... Словом, на всяком шагу он сам свой клеветник». Этот случай с П. Гоголь предлагает прежде всего вниманию тех, для кого *слово* является их поприщем: «Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть лучше раздается гнилое слово о гнилых предметах» [Гоголь, т. VIII, 1952, с. 232].

Итак, для того чтобы соответствовать возвышенному предмету, слово должно быть отделено от всего того, что может

наложить на него печать временного, случайного, скороспешного, одержимого; от всего того, что имеет отношение к слишком человеческому. Для того чтобы слово вышло из уст очищенным от временного и неряшливого, нужно, чтобы тот, кто собирается это слово из себя извлечь, подготовился бы к этому извлечению, встав на путь благоустройства собственной души. «Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится под влиянием страстных увлечений, досады или гнева, или какого-нибудь личного нерасположения к кому бы то ни было, словом – в те поры, когда не пришла еще в стройность его собственная душа: из него такое выйдет слово, что всем опротивеет» [Гоголь, т. VIII, 1952, с. 231].

То, что сказано в статье «О том, что такое слово», так или иначе, в том или ином виде проговаривается и в других «Выбранных местах...», образуя чрезвычайно для них важную мыслительную парадигму.

Так, в разделе VII «Об Одиссее, переводимой Жуковским (Письмо к Н. Я...ву)» Гоголь, говоря об уделе гомеровского слова «вечно раздаваться в мире», акцентирует идею отдельного существования слова. Слова Гомера не принадлежат «устам какого-либо человека», они отделились от своего создателя и существуют независимо ни от него, ни от времени. Слово изначально обладает самостоятельным возвышенным достоинством, и задача писателя состоит в том, чтобы это достоинство вернуть даже самому простому слову «уменьем поместить его в надлежащем месте» и придать путем внешней обработки «наружное благоприличие» [Гоголь, т. VIII, 1952, с. 242].

Раздел XIII – «Карамзин (Из письма к Н.М. Я...ву)» – предлагает нам еще одну вариацию на тему истинного слова. В этом письме Гоголь прославляет Карамзина как первого русского писателя, всем доказавшего возможность быть независимым, и, будучи таковым, нести такое слово правды, против которого бессильна даже самая строгая цензура. Чем же обусловлена такая неколебимая внушительность карамзинского слова? А все тем же – «чистотой» и «благоустройством» души писателя. И в этом случае благоустроенному Карамзину противопоставляется тот, кто подобно П., «выказывая неряшество растрепанной души своей», «более, нежели

самой правдой, уколет теми заносчивыми словами, которыми скажет свою правду» [Гоголь, т. VIII, 1952, с. 267]. И эти слова в силу их запальчивости за правду никто принять не сможет.

Во всех этих выбранных местах из «Выбранных мест...» прослеживается одна и та же сквозная идея: для того, чтобы слово смогло представлять истинное, возвышенное и прекрасное, человек должен оторваться от своей внешней – «неряшливой» – личности и обрести благоустроенную душу. И только в этом случае сказанное им слово будет соответствовать абсолютному измерению «возвышенных предметов». Только в этом случае его слово станет «выше мира и страстей», станет таким словом, о котором нельзя будет подумать, что оно чье-то слово, поскольку принадлежит оно самому возвышенному и прекрасному.

Эталонным примером такого случая для Гоголя был Пушкин. Многомерное пушкинское слово Гоголь объяснял многомерностью самого Пушкина, не предполагающей ничего такого, что имеет отношение ко всегда чреватой тенденциозностью личностной ограниченности. В слове Пушкина нет пушкинской личности, его слово – отражающее весь мир зеркало.

В другом месте Гоголь напрямую скажет о зеркальности как сущностной характеристике русского слова. В отличие в особенности от немецкого слова наше «живое и меткое» слово, «не описывающее, но отражающее, как в зеркале, предмет».

«Описывающее» слово представляется Гоголем как «постепенное, медленное развитие мыслей, не прерывающий<ся> исход и вывод одного из другого, без которого немец не ступит шага и не пойдет по дороге». В такой последовательности «каждая фраза потому только сильна, что соединяется с другими и оглушает падением всей массы, но если отделить ее, она становится слабою и бессильною» [Гоголь, 1952, с. 469]. «Дымная путаница» образуется в результате такого словесного сцепления, при котором слово никогда не может быть обращенным к миру, потому что всегда оказывается вынужденным быть обращенным к другому слову. Немецкому слову Гоголь противопоставляет русское слово – краткое, емкое и меткое. Наиболее выразительная форма его существования – поговорка, отражающая все, вбирающая в себя все, совокупляющая все в «одно крепкое ядро» [Гоголь, т. VIII, 1952, с. 469]..

То, что Гоголь говорит о русском и немецком слове, конгруэнтно тому, что он говорит о русском и немецком человеке. Особенно наглядно эта аналогия прослеживается в разделе «О науке» из «Учебной книги словесности для русского юношества». Главный его тезис состоит в том, что только в русской голове возможно создание науки как науки. И это так потому, что только русский взгляд способен отрешиться от всех сторонних влияний, «ибо русский отрешился даже от самого себя, чего не случалось доселе ни с одним народом». Немцу, о чем бы он ни говорил, не отрешиться от немца; французу, о чем бы он ни говорил, во всех его мнениях и словах будет слышен француз; англичанину и подавно, более всех нельзя отделиться от своей природы». Зачем же во имя науки нужно уметь отрешаться от самого себя? Затем, что только в этом случае, говорит Гоголь, возможно достижение необходимого науке «беспристрастия»: «Стало быть, полное беспристрастие возможно только в русском уме, и всесторонность ума может быть доступна одному только русскому, разумеется, при его полном и совершенном воспитании» [Гоголь, т. VIII, 1952, с. 469].

Во всех этих размышлениях доминируют две взаимодополняющие идеи: одна из них состоит в том, что истина может быть выражена только благоустроенным, беспристрастным, зеркально отражающим мир словом, а другая – в том, что достигнуть состояния беспристрастия можно только путем отрешения от самого себя, от всего того, что мешает душе стать, как у Карамзина, «стройной и прекрасной».

Конечно, эти размышления в «Выбранных местах...» «о том, что есть слово», имеют непосредственное сопряжение с личностью Гоголя этого периода, с его поисками ответа на вопрос о назначении его собственного слова, которое вырабатывалось благодаря и определенному кругу чтения, подпитывающему его тягу к исихастским учениям [см.: Гуминский, 2014, с. 15-20]. «Света никогда не узнаешь, – пишет Гоголь М. П. Погдину 2 ноября 1843 г., – толкаясь между людьми. На свет нужно всмотреться только в начале, чтобы приобрести заглавие той материи, которую следует узнавать внутри души своей». Далее в письме следует прямое свидетельство внимательного чтения аскетических трудов: «Это подтвердят...

многие святые молчалники, которые говорят согласно, что, поживши такую жизнью, читаешь на лице всякого человека сокровенные его мысли, хотя бы он и скрывал их всячески» [Гоголь, т. XII, 1952, с. 231]. Призывом к молчанию как необходимому периоду для вызревания слова собственно и завершаются гоголевские размышления о том, «что есть слово».

Правда, в «Выбранных местах...» есть и такие места, которые свидетельствуют о том, что Гоголь мог думать о соотношении между душой и словом несколько иначе. Так, размышления о предметах, к которым мог бы быть обращен лирический поэт, венчаются мыслью о том, что превалирующее значение имеет не сам объект, а те состояния – гнева или любви, которые выражает лирический поэт в своем к нему обращении. Если у поэта есть гнев «противу того, что губит человека» и «любви – к бедной душе человека, которую губят со всех сторон и которую губит он сам», то тогда «найдешь слова, найдутся выраженья, огни, а не слова, излетят от тебя, как от древних пророков, если только, подобно им, сделаешь это дело родным и кровным своим делом, если только, подобно им, посыпав пеплом главу, раздравши ризы, рыданием вымолишь себе у Бога на то силу, и так возлюбишь спасенье земли своей, как возлюбили они спасенье богоизбранного своего народа» [Гоголь, т. VIII, 1952, с. 281]. Слово-огонь – это явно не благоустроенное слово, которому найдено надлежащее место и которое получило надлежащую обработку, и явно не беспристрастное слово-зеркало. Слово-огонь – это слово пророка и слово лирического поэта, говорящих не от самих себя, а от лица Бога, свидетельствующего о своем присутствии посредством всепоглощающей любви и всепоглощающего гнева.

Поэтому есть в слове-огне и то, что сближает его со словом-зеркалом. И то, и другое слово требуют от человека самоотречения и полной самоотдачи «предмету»: абсолютная страсть и абсолютное беспристрастие требуют от человека отказа от всего того, что имеет отношение к сфере лично-частного.

По всей видимости, «Выбранные места...», по замыслу Гоголя, и должны были продемонстрировать два возможных варианта такой самоотдачи. «Выбранные места...» (если провести аналогию с письмом к Жуковскому о переводе Одиссеи) – это отобранные письма (=слова), каждому из которых находится надлежащее место и

придется наружное благоприличие путем внешней обработки. При этом каждое слово-письмо должно было как бы являть собой и слово-зеркало, отражающее ту или иную область жизни, и – проникнутое любовью или гневом – слово-огонь.

Однако слово отрешенного от себя писателя было воспринято совсем не так, как этого хотел бы Гоголь. Когда слово это располагалось в частной переписке, когда оно было словом живого лица, словом частно-личного Гоголя, оно воспринималось как слово живое и подлинное; как только же оно оказалось помещенным в предназначенную для широкой публики книгу, оно тут же стало восприниматься как мертвое и ложное. И прежде всего так отнеслись к нему гоголевские корреспонденты. Они и представить себе не могли, что адресованные им письма могут быть отобраны и напечатаны. В.А. Жуковский отреагировал на это, к примеру, так (на что обратила внимание Ю.В. Балакшина [Балакшина, 2015, с. 108]): «Когда [вместо самого автора] явилась перед мною мертвая печатная книга <...> то многое, мне прежде показавшееся столь привлекательно-оригинальным, представилось странным и неприличным» [Жуковский, 1902, с. 75].

Весьма примечательно, что подобное превращение живого истинного слова в ложное мертвое уже у Гоголя случалось, но не в жизни, а в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».

Сошлемся на то, как описывает ситуацию слова в этом цикле А.А. Фаустов. В «Вечере накануне Ивана Купала» о повествовательном искусстве Фомы Григорьевича – центрального рассказчика «Вечеров...» – Рудый Панько сочтет нужным заметить: «За Фомою Григорьевичем водилась особенного рода странность: он до смерти не любил пересказывать одно и то же <...> если упростишь его рассказать что сызнава, то... что-нибудь да вкинет новое или переиначит так, что узнать нельзя» [Гоголь, т. I, 1940, с. 137]. Настоящая странность здесь в том, что переиначивание напрямую соотносится с вопросом об истинности / ложности подобной наррации. Собственно, преамбула к «Вечеру накануне...» и понадобилась потому, что некто из породы «господ-писак» опубликует «быль» Фомы Григорьевича (а именно такой подзаголовок – у всех трех повестей дьяка Диканьской церкви). И тот, когда Рудый Панько начнет

ему его же историю читать, прореагирует на нее так: «...скажите мне, что это вы читаете? <...> Кто вам сказал, что это мои слова? <...> бреше, сучий *москаль* <...> Слушайте, я вам расскажу ее сейчас». И далее последует «чудная история», рассказанная когда-то Фоме Григорьевичу его дедом, который «...в жизнь свою... никогда не лгал, и что, бывало, ни скажет, то именно так и было» [Гоголь, т. I, 1940, с. 138]. Таким образом, *были* Фомы Григорьевича, как бы они ни противоречили друг другу, «...всякий раз, в момент их произнесения, оказываются истинными...» [Фаустов, 1998, с. 24]. Как только же они оказываются отделенными от сказителя, напечатанными в книге (что лишает их возможности изменяться), они тут же становятся мертвыми и, соответственно, ложными. Залогом истинности историй Фомы Григорьевича является как раз то, что для Гоголя периода «Выбранных мест...» имеет прямо противоположное значение, – непосредственная связь со сказителем: слово Фомы Григорьевича является живым и истинным только в момент его произнесения.

По всей видимости, для Гоголя и периода «Выбранных мест...» память о слове Вечеров не совсем была утеряна. И даже более того, она не давала ему окончательно от него отказаться. И мысль об окончательном отказе от такого слова внушала Гоголю едва ли не мистический страх. Поэтому, даже ведя проповедь о слове-зеркале и слове-огне, Гоголь оставляет для себя лазейку, которая позволила бы ему окончательно не разорвать живую связь между собой и своим словом. Это видно и в том, как он выстраивает свое авторское поведение, знаки которого проявляются в самой композиции «Выбранных мест...».

Не случайно, что предваряются они «Предисловием» и «Завещанием». И то, и другое должны настроить читателя на то, что он имеет дело со словом, на котором уже невозможно найти следы личностного неряшества, – со словом, близким по статусу посмертному завещанию, т.е. таким, которое совершенно точно оторвалось от своего подверженного разрушительному времени создателя.

Однако тут же читатель вынужден несколько подкорректировать свое впечатление и понять, что он все-таки имеет дело со словом не окончательно, а только *почти* оторвавшимся от автора. И это «почти» и есть та самая лазейка, которая открывала

Гоголю путь к сохранению связи между ним и его словом. Отобрать письма для печати должны были, согласно завещанию Гоголя, после смерти его друга, однако это дело, как говорит Гоголь, пришлось сделать ему самому по очень веской причине: он не умер. А это обстоятельство не могло не затронуть и статуса «Выбранных мест...»: то, что должно было иметь отношение к уже мертвому, стало иметь отношение к еще живому. Так что у слова в «Выбранных местах...» не до конца определенное положение: слово представляется и таким, каким оно было бы, если бы совершенно оторвалось от своего автора, и в то же время оно просит относиться к нему как к слову, являющемуся собственностью еще живого лица.

Кроме того, Гоголь даже предполагал при определенных условиях изменить композицию книги и вместо «Завещания» вставить в нее другой текст. Об этом он говорит в письме к Жуковскому от 10 января 1848 года: «Если письмо это найдешь не без достоинств<ва>, то побереги его. Его можно будет при втором издании “Переписки” поставить впереди книги на место [впереди, вместо] “Завещания”, имеющего выброситься, а заглавье дать ему: “Искусство есть примирение с жизнью”». По пафосному строю это письмо представляет собой что-то вроде смеси между патетическим гимном искусству и доверительным откровением частного лица, признающего в своих исканиях и метаниях между разными поприщами. Итог этих исканий – признание, что главное в его жизни – миссия художника, обязывающая его «говорить *живыми образами*, а не рассуждениями»: «Я должен выставить *жизнь* лицом, а не трактовать о жизни» [Гоголь, т. XIV, 1952, с. 38].

В целом умысел такой замены состоял в том, как пронизательно отметил В.З. Паперный, «чтобы как бы ненароком и почти даже случайно задним числом радикально переакцентировать общий смысл уже опубликованной и уже провалившейся книги... попытаться обратиться к публике *с этой же книгой* еще раз» [Паперный, 1997, с. 170]. Однако в этом случае важно уточнить смысл этой переакцентировки. Если бы письмо к Жуковскому заняло место «Завещания», то оно не только придало «Выбранным местам...» иную идейную тональность, но и представило бы Гоголя перед читателем в ином свете – не как оракула, а как сомневающуюся и оступающуюся –

«неряшливую» – личность. И тогда надличностное слово «Выбранных мест...» возвратилось бы к устам своего создателя и обрело живую истинность. Однако этого не случилось.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Балакшина, Ю.В. Диалог светской культуры и церкви в России XIX – XX веков: литературные формы, исторические этапы. Дисс. ... докт. филол. наук / Ю.В. Балакшина. – Санкт-Петербург, 2015. – 513 с.

Гоголь, Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. / Н.В. Гоголь. – Москва: Изд-во АН СССР, 1952.

Гуминский, В.М. Гоголь и исихазм / В.М. Гуминский // Новая книга России. – 2014. – № 10. – С. 15-20.

Жуковский, В.А. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 10 / В.А. Жуковский. – Санкт-Петербург: Издание А.Ф. Маркса, 1902. – 147 с.

Паперный, В. «Преображение» Гоголя (к реконструкции основного мифа позднего Гоголя) / В. Паперный // Wiener Slawistischer Almanach. Band 38. – Wien, 1997. – С. 169-170.

Фаустов, А.А. «Сад расходящихся тропок»: Рассказывание, сюжет и реальность в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя / А.А. Фаустов // Вестник Самарского гос. ун-та. – 1998. – № 3(9). – С. 23-37.